

А. И.  
ЭРТЕЛЬ

*Сочинения*



# Александр Иванович Эртель

## Мои домочадцы

«Однажды все мои домочадцы собрались на канавке за хутором. Тут же, около них, поместился березовский мужичок Аким, который хотя и пришел за спешным делом (занять печеного хлеба на ужин), но тем не менее посиживал себе на канавке. Дело было летом...»

# **Александр Иванович Эртель**

## **Мои домочадцы**

Прежде всего опишу Семена.

Вообразите себе малорослого человека с длинными руками, бесцельно и беспомощно болтающимися по бокам, с небольшим ястребиным носиком, слегка искривленным на конце, и прямыми, белыми как лен волосами, с кроткими, вечно задумчивыми глазами и безмятежным выражением лица, крошечного и сморщенного в кулачок, — это и будет Семен.

Впрочем, настоящее его имя было не Семен, но об этом — после.

Был он у меня не простым работником, но, по мере надобности, и старостою, и ключником. Первую из этих обязанностей, — обязанность старосты, — нес он плохо. Вы могли бы целый день следить за работами, где находится Семен в качестве начальника, и целый день не услышали бы его голоса, и это даже тогда, если рабочие были неисправны. Обычно Семен, заметив какую-либо неисправность в работе, тотчас же брал в руки метлу или лопату, или другое соответствующее орудие, и, вместо того чтоб приказывать, кропотливо возился, заглаживая эту неисправность

своими руками. Но бывали и такие работы, в которых невозможно было вступаться самому (например пахота) и самому исправлять упущение, происшедшее от лени или недосмотра рабочих. Тогда Семен, после долгих колебаний, подходил к самому носу неисправного работника и втихомолку просил его «как ни можно стараться».

Вообще не по душе ему была должность старосты, и если он с грехом пополам сносил ее, то лишь благодаря тому, что я и не требовал от него большего усердия, а только рассчитывал на одну его, действительно замечательную, честность.

Но обязанность ключника нес он с любовью. Весною по целым дням, бывало, возится в прохладном амбаре: там подметет, там законопатит пол, там подмажет его глиною. Придет лето — еще больше хлопот. Нужно принимать хлеб с тока, нужно отпускать его на грохота, а с грохотов снова принимать и пропускать на сортировку... Тогда ключнику много работы. И отпуск и приемка требуют счета и меры. И вот Семен с неукоснительным вниманием чертит стены закровов кабалистиче-

скими знаками, означающими воза, четверти, пуды, и является ко мне вечером с целой охапкою бирок. Кроме счета, есть и еще занятие: после каждого воза чисто-начисто подметать коридор, отгребать зерно в закрое и гонять из амбара голубей, то и дело влетающих туда поживиться обильным кормом. Осенью, а иногда и зимою, тоже большие и приятные хлопоты Семену: отпуск хлеба купцам, наблюдение за весами, зашивание кулей и, опять-таки, начертание кабалистических знаков.

В амбаре он чувствовал себя дома: говорил громко, двигался смело, делал все без колебаний и раздумываний. Но все это заменялось полнейшею нерешительностью, когда Семену приходилось вылезать из амбара на свет божий и идти на ток наблюдать за молотьбою. Надо было видеть его в ту минуту, когда к нему подходили и спрашивали: не пора ли стряпать, не довольно ли уж чисто вымолочено? Он терялся, мямлил, с нерешительностью мял в руках солому и рассматривал колосики, и в конце концов выражал свою волю таким неопределенным и сконфуженным лепетом,

что молотильщики безнадежно махали на него рукою и уж руководились в своих действиях собственной своею совестью. Если они решали «стрясать» — Семен не противоречил, но с тоскою ходил по току и тогда лишь забывался, когда попадались ему под руки грабли. Тогда он старательно перетрясал ту солому, в которой ему думалось найти зерно, каждый плохо перемятый колос тщательно и со вздохом обивал о ручку грабель и вообще по мере возможности старался наверстать кажущееся упущение.

Кроме молотьбы (молотьбу я подразумеваю — цепами и телегами, но не машиной), особенно ненавидел Семен полку. Иметь дело с несколькими десятками баб и девок, обыкновенно склонных к насмешкам над начальником и вообще к озорству и непослушанию, было для него сущим наказанием, и случилось даже так, что когда неизбежно приходилось идти на полку, у Семена внезапно «схватывало» живот, и он с страшными стонами залезал на печку, с которой сходил уже тогда, когда опасность проходила и надобности в нем совершенно не оказывалось. Эта конфуз-

ливость выражалась в нем только в роли начальника, старосты. В остальное время он если и не был чересчур разбитным человеком, то и не смотрел растерянным.

Впрочем, надо добавить, что вообще компании он не любил, а если уж приходилось быть в народе, то больше отмалчивался и слушал, на вопросы отвечал односложно и, при первом благоприятном случае, удалялся куда-нибудь в глухой уголок хутора, где либо посиживал себе одиноко, либо копался над какой-нибудь работой. С особенным старанием избегал он разговоров шумных и ругани, безучастно выслушивал строго деловые; но если заходила речь о каких-нибудь отвлеченных материях или рассказывалась сказка — он любил послушать, а когда предмет уже чересчур увлекал его, то и сам пускался в рассуждения, обыкновенно краткие и простые, но всегда высказанные не на ветер, а с убеждением и, что называется, от души. Чувствовалось, что рассуждения эти, на первый раз как будто и избитые, — не заимствованы и не унаследованы с тупой машинальностью отцов и дедов, а выработаны и добыты само-



стоятельной мыслью.

Отличительной чертой Семенова характером было смирение и какое-то невозмутимое спокойствие духа. Исключив те случаи, о которых я уже говорил выше, вы не подметили бы на его лице следов каких-либо волнений житейских, горя, тоски, скуки и т. п. Лицо его было всегда безмятежно и кротко, взгляд — ясен и тих, движения — плавно-медлительны, речь — нетороплива и проста. А между тем, претерпел он столько, что, кажется, сам дивно терпеливый Иов<sup>(1)</sup> опешил бы. Судите сами. Была у Семена большая семья, имелось порядочное хозяйство, и даже водились две кладушки старого хлеба, что, как известно, служит уж доказательством почти богатства (разумеется, крестьянского). Семья не знала, что такое «недоимка», «неотработка», «голодуха» и тому подобные неизбежности крестьянской жизни. Но все это сразу рухнуло и рассыпалось прахом... В семидесятом году свирепствовала холера: из Семеновой избы в одну неделю вынесли пять гробов. Остались в живых Семен с женою да их сынишка, мальчик пяти лет. В семьдесят первом году попрел

весь хлеб в поле, а какой успели свезть на гумно — погнил и пророс на гумне. У Семена он попрел в поле. В семьдесят втором году, в одно летнее и, по обыкновению, прекрасное утро, к Семену в избу принесли мальчика с проломленным черепом и разбитой ключицей: был в ночном, скакал на лошади (это семилеток-то!) и упал. История не редкая. Не успели похоронить не в меру шустрого мальчугана и не успела мать, убитая горем, оправиться от «сполоху», выразившегося нервным трясением головы и частыми истерическими криками, случился пожар: «баловались» конокрады односельцы, приговоренные «миром» к высылке в Сибирь. Семеново хозяйство сторело дотла. Семен все крепился. Путем каких-то нечеловеческих усилий сбил он денег на избу и уж поставил ее: «Только бы жить!», по его выражению, но тут судьба уж окончательно его подкузьмила: жена тосковала, тосковала да и сбежала к купеческому приказчику. Тогда Семен собрал «старичков» и торжественно отказался от земли, которую находчивые «старички» тут же, на сходке, и пропили целовальнику на три года.

И, несмотря на все это, Семен сохранил безмятежность духа необыкновенную. Часто я задавал себе вопрос: что противопоставляет этот утлый человек своей беспощадно суровой доле? Откуда у него эта беспечальная улыбка, эта мягкая светлость взгляда? — и не мог решить этого вопроса.

Он носил свое горе в себе, тихо и бережно, и не любил делиться им с людьми, не любил толковать о нем, подобно многим горемыкам, которые и самое горе-то свое забывают в пылу жалоб и сетований. Но если ему неизбежно приходилось говорить с вами о своих напастях, — безмятежность не покидала его, и вы не могли бы заметить в его голосе ни капли горечи.

Мягкий и теплый тон его простой до наивности речи, его медлительные движения, полные какой-то важной значительности, его открытое лицо все это я бы назвал величавостью... Но, боже мой! — маленький, плюгавенький мужичок с ястребиным носиком, желтой бородкой клинушком и низким лбом, и... вдруг величавость!

Еще черта. Самое последнее, что занимало

его в этом мире, — это собственная его особа. И если она его хоть сколько-нибудь занимала, то исключительно лишь потому, что интересы ее часто соприкасались с чужими интересами. Так, он был очень чисто плотен, но это совершенно не означало, чтобы он любил чистоту. Он сменял рубашку не потому, чтобы ему было приятно заменить ее свежей, а потому, что «люди осудят, если ходить в грязной». Рубашка — пример резкий, но таков он был во всем. Я могу представить любопытный случай, как нельзя более рекомендующий его равнодушное отношение к своей особе. Нанялся он на хутор без меня. Когда я приехал, мне сказали, что нового работника зовут Семеном. Семеном я его и звал. Года три спустя получаю я за № 11475-м бумагу следующего содержания:

*«Арендателю Батурину, Николаю Василчу.*

*От О-го волостного старшины.*

*Отношение.*

*Как мы наслышаны, проживает на вашем на хуторе на Грязнуше (в скобках*

стояло: „на Вашего Высоко-Благородия!“) крестьянин Ксенофонтий, государственный крестьянин О-ой волости, богородицкого сельца, Турманов (в скобках повторено: „Ксенофонтий“), но как у нас есть правила на счет недоимщиков, чтоб не застаиваться недоимкам и чтоб отдавать в случае на заработки. И как у нас такие правила на счет недоимщиков, и мы покорнейше просим вас (в скобках опять было прибавлено „ваше высоко-благородие“, но на этот раз уж не с восклицательным, а вопросительным знаком), как мы наслышаны про Ксенофонтия Турманова, государственного крестьянина села богородицкого... (Затем следовало несколько точек, а уж после точек явственно и крупно было начертано другою рукой) взыскать 7 руб. 41  $\frac{3}{4}$  коп. и немедля прислать».

Внизу было подписано страшно изломанным почерком (это уже третьим):

валасъноі сътыръшыня эфървмъ  
горъздкын

А пониже этой ужасной подписи бойко

размахнулся и закрутил заливчатскими завитушками: «Исправляющий должность помощника волостного писаря, посельный писарь Калистрат Барабанщиков».

Не успел еще я вникнуть в смысл «отношения» о каком-то неведомом мне Ксенофонтии и налюбоваться образцовым слогом административной бумаги, как вошел Семен.

— Ты что, Семен?

— Да я насчет бумаги тут...

— Какой бумаги?

— А вот из волостной-то привезли.

— Да разве ты Ксенофонт?

Семен слегка улыбнулся.

— Ксенофонт-то я, Ксенофонт...

— Вот чудак! С какой же ты стати Семеном-то зовешься?

Семен почесал затылок.

— Что ж, кабыть не все одно... Как ни называл — все едино. Семен так Семен. Важности в этом мало.

Я развел руками, и с тех пор начал было называть Семена его настоящим именем, но так как оно чересчур хитро, то мало-помалу я и опять стал называть его по-прежнему, да и

он на Семена откликнулся скорей, чем на Ксе-нофонта...

Семен не был привержен к церкви. Говел он в пять лет раз, у обедни бывал очень редко, попа уважал плохо, — одним словом, был в этом отношении как и все мы, грешные. Этим я хочу сказать, что нравственные его понятия, как бы на первый раз ни казались построенными на евангельском учении, которое он, как человек неграмотный, мог слышать только из уст дьяконских, — в сущности сложились совершенно независимо от церкви. Почва была в собственной личности его, мягкой и кроткой, верно дала жизнь путем бесчисленных и якобы убедительных примеров, из которых следовало, что необходимо одно — *терпеть*, ибо ничего не поделаешь... И вот из этого-то зерна, соединенного с такою-то почвою, и вырос диковинный и, кажется, чисто русский цветок — «смиренно-мудрие». Говорю, церковь тут была ни при чем. Впрочем, если хотите, она дала Семену терминологию: бог, грех, терпение и тому подобные слова часто встречались на языке Семена.

Но пусть не подумают, что Семен, с равнодушием относясь к церкви, относился к ней и критически и вообще не был религиозным. О, это не было так. Он был религиозен, но его религиозные понятия как-то двоились. Одни были унаследованы им от среды и приняты на веру, как нечто несомненное и необходимое, но ничуть не интересное и даже как бы постороннее. Другие, смутные и неопределенные, почти бессознательно назревшие где-то там, в глубине души, но очень важные и, главное, — живые. Все формальное, наружное и, наконец, даже и важное, но воплощенное в обряды, — все это относилось к первым. Все таинственное, недостижимое, но величественное и могучее принадлежало к другим. У него был бог, которого он не мог объять своею мыслью, к которому он даже не мог приблизиться, но, что несомненно, ощущал его в себе, а может быть, им одним лишь и жил. Я не стану уверять, что бог этот был строго *православный бог*, и, всего вероятнее, живи мы в стародавние времена, Семен отведал бы за него батогов, но несомненно, что бог этот походил на того скорбного бога, который «под



ношей крестной исходил, благословляя, край долготерпения»<sup>{2}</sup>.

Я где-то уже сказал, что любил Семен быть наедине с самим собою. К этому добавлю — любил он почасти и подолгу засиживаться в каком-нибудь укромном уголку. Случалось мне иногда наблюдать за ним в такую пору: сидит как изваяние, без слова, без движения, но лицо осмысленно, и глаза, неподвижно устремленные вдаль, по-прежнему ясны. Это, впрочем, случалось с ним только весной и летом, и притом в хорошую погоду. После таких созерцаний он особенно был тих и кро-ток. Все лицо его проникалось тогда выражением какой-то нежной ласковости и свети-лось мягкой радостью. Такое выражение остается иногда на лице, когда долго слуша-ешь болтливый лепет милого ребенка и на-смотришься на его наивно-веселое личико. Казалось, поля и небо, на которые с такою пристальной мечтательностью глядел Семен, заменяли ему этот невинный ребяческий ле-пет.

Вероятно благодаря этому частому и лю-бовному общению с природой, Семен лучше

всякого барометра угадывал изменения в погоде. Форма и расположение облаков, звезды и месяц, цвет неба при закате и восходе солнца, шум ветра и полет птицы — все служило ему для предсказания. Если прибавить к этому его умение «заговаривать» кровь, «отчитывать» червей, «нашептывать» нитку, то весьма понятным будет то уважение, которым пользовался Семен в околотеке и благодаря которому все величали его «Иванычем», а не Семеном и не Ксенофонтом.

Была одна страсть, у Семена: любил он слушать песни; и не новые, большею частью и по содержанию и по напеву нелепые, а хорошие, старинные песни. Раз на базаре пропойл он последний полтинник какому-то забулдыге, который песня за песней пропел ему и «Степь моздокскую», и «Поле-полюшко турецкое», и «Не белы-то снежки в поле забелелись», и «Сторонушку», и много других славных старинных песен.

Однажды был у меня приятель, великолепно читавший Кольцова. Только мы принялись было с ним за чтение, вошел с каким-то вопросом Семен и, получивши ответ, вышел.

Прошел час, другой... Вдруг я услышал шорох в соседней комнате. Посмотрел — вижу, Семен стоит неподвижно среди комнаты и с глубочайшим вниманием слушает...

— Больно хороши песни, — сказал он мне с обычным выражением ласковости и долго повторял после: — Вот — песни!

По соответствию ли с собственным своим положением, или по чему-либо другому — более всего ему понравилась «Измена суженой», и уж гораздо после — в другом месте и в другое время, я слышал, как он пел своим гнусливым и скрипучим голосом:

*Пала грусть тоска тяжелая  
На кручинную головушку...  
Мучит душу мука смертная,  
Вон из тела душа просится...*

Выдалось как-то летом мочливое время. Целую неделю шел дождь. Наконец выступило солнце и разогнало тучи по краям неба. Стало тепло. Освеженные поля и деревья весело заблестели на солнце. Тонкий пар тянулся от земли к небу. Влажный воздух насыщен был ароматом трав и запахом приятной затхлости.

Был вечер. Я ходил по гумну и, увидав Семена, остановился. Он сидел на высокой канаве и, облокотившись на колени, задумчиво глядел вдаль. Прямо перед ним лежал пустырь, поросший бурьяном и полынью, дальше зеленелись и бурели поля, а за полями закатывалось солнце. Пар прозрачной и тонкой пеленою стоял над горизонтом. Солнечные лучи, пронизывая этот пар, окрашивали его в золотисто-зеленый цвет. В этом фантастическом, зеленоватом море, дрожавшем, подобно мареву, толпились и млели розовые, голубые и багровые облака. Они то плыли как лебеди, тихо и плавно, насквозь проникнутые горячим золотом, то громоздились, подобно крепостным башням, то хмурились и синели, то расползались и таяли, как тает снег под весенними лучами... Наконец одно облако превратилось в густую тучу и синим треугольником заслонило солнце. Лучи расползлись из-за тучи и беловатым снопом ударились в бледно-голубую высь, целым морем багрянца брызнули на млеющие в закате облака, а вокруг синей тучи зажгли ярко-огненную кайму, извилистой струею отделившую бледное

и чистое небо от выпуклой и густой синевы. Нежнейшие оттенки зеленого, янтарно-розового и мягко-голубого цвета широкими, незаметно сливающимися полосами повисли над закатом. Даль, подернутая легкими волнами испарений, искрилась и трепетала.

Семен что-то произносил нараспев. Я подвинулся ближе. «Ах ты, поле мое, полюшко...» — пропел он и смолк. «Ах ты, поле мое, полюшко-раздолье!» — и опять что-то запел вполголоса и опять смолк, не спуская взгляда с зари и с поля. И долго еще до моего слуха доносилось: «полынь горькая травушка...», «поле-полеваньице...» Долго эти слова прерывались каким-то задумчивым молчанием, и, наконец, когда закат начал потухать и синеватые тени побежали по полям, загорелись звезды и потускнели дали, Семен уныло запел. То, что я расслышал и что разобрал из этого пения, передаю:

*Ах ты, поле мое, полюшко, —  
Раздолье...*

*А и кто ж тебя, полеваньице,  
Забросил...*

*Полыном ли, горькой травушкой,*

Засеял...  
Что полынь ли, горькая травуш-  
ка,  
Уродилась —  
А и все то поле-полеваньице  
Покрыла...  
Ах ты, доля моя, долюшка —  
Гореванье...  
Что и нет-то, нету у детинушки  
Семейки,  
А и нет-то, нет у молодца  
Талану...

Был он крайне незлобив. Помню, по како-  
му-то делу приехал ко мне тот самый приказ-  
чик, к которому сбежала жена Семена. Когда  
этот приказчик выходил из дома, лошадь под-  
вел ему Семен. Приказчик насмешливо при-  
щурился и произнес: «А, старый знакомый,  
здорово! — Свояки мы с ним», — пояснил он  
мне, нахально усмехаясь. Я с любопытством  
взглянул на Семена. Он слегка и, как показа-  
лось мне, снисходительно улыбнулся, снял  
шапку и самым благодушнейшим образом  
приветствовал приказчика. Мало того — ко-  
гда тот сел, Семен заметил какую-то неис-  
правность в сбруе, остановил приказчика, по-

правил неисправность и радушно произнес: «Ну, теперь с богом, Филипп Макарыч!» А когда Филипп Макарыч, жирно посмеиваясь и молодцевато передергивая поджарую кобылу свою, закричал ему: «Что ж, поклониться Марье-то?» — Семен ответил ему: «Отчего не поклониться, поклонись коли...» и сам засмеялся добродушным, ласковым смехом. «Слаба ведь она, баба-то! объяснил он мне по отъезде приказчика, — с нее и взять нечего: корм у него сладкий, спи вволю, вот она и позарилась... Известно — баба!»

Опишу еще одну особенность Семена. Был он страшно труслив и робок перед начальством и вообще перед всяким человеком с околышем на фуражке. Несколько раз брал я его кучером и вдоволь натерпелся с ним горя. Бывало, увидит он чуть еще не за версту красный, зеленый или иной околыш, а то так и просто белую летнюю фуражку, и спешит сворачивать с дороги на пашню, на болото, — куда пришлось... Несмотря на все мои старания, от этого страха перед околышем отучить его я не мог. Иногда рассудок ему как будто и говорил: «Э, не велика важность — околыш!» — а

рука, помимо воли, дергала вожжи, направляя лошадей на кочки и рытвины, и суетливо схватывала с головы шапку, чтобы отдать честь какому-нибудь исправляющему должность помощника волостного писаря Калистрату Барабанщикову или младшему помощнику старшего архивариуса при уездной дворянской опеке, личному дворянину Иосафату Поползновенскому... Случилось как-то — был Семен на базаре для покупки двух поросят и имел неосторожность купить этих поросят у той торговки, у которой только что торговал их «помощник помощника исправляющего должность секретаря при мировом съезде» (ей-богу, есть такая должность!). «Помощник помощника» нрава был горячего, да к тому же, по близости своей к Фемиде<sup>(3)</sup>, мнил себя в безопасности, а потому и закатил бедному Семену две или три изрядные оплеушины. Боже мой! Сколько трудов и красноречия потратил я, убеждая Семена жаловаться мировому судье! Но Семен жаловаться не согласился. Одно упоминание суда, полиции и других краеугольных учреждений наводило на него уныние, и трепет, и желание как



можно скорей улизнуть в глубь и темноту своих милых амбаров, в поле или на канаву за гумном и всецело отдаться там отрадному чувству безопасности. *Терпеть и бояться* — в этих словах заключалась вся его жизнь, хотя прошу не забывать, что боялся он только «околыша» и всего того, что, по его мнению, неразрывно связано с этим околышем.

Старик Наум, каждую уборку хлеба пребывавший на моем хуторе, по его собственному выражению: «Для смотра за порядком», — был ходячею противоположностью Семена. Чинный, степенный, неторопливый, охотник порассудить и поговорить — он так и просился в комедию времен Екатерины, чтобы в качестве убеленного сединами и умудренного опытом Здравомысла и Правдолюбца направлять на путь истины различных вертопрахов и изрекать на поучение райка мудрые слова.

Как сейчас вижу я дедушку Наума, когда он, внимательно выслушав самый незначительный вопрос, глубокомысленно задумается, «уоставив браду» в землю, важно расправит эту бороду (окладистую и седую) и, наконец,

возговорит... Но не подумайте, что возговорит он — значит ответит на вопрос просто и ясно, как ответил бы Семен. О нет, дедушка Наум не таков! — прежде всего он со всевозможных точек обсудит предмет вопроса, изложит историю этого предмета и его значение в жизни нравственной и общественной, наконец перейдет к своему мнению о предмете... Одним словом, говорит, говорит, унижает, унижает речь свою бесчисленными «к примеру» и «вестимо» и остановится лишь тогда, когда вы его убедительно попросите остановиться или когда измученные слушатели один за другим удалятся. Впрочем, последнее не всегда останавливает дедушку Наума, и он часто доканчивает свои рассуждения на поучение пустынным полям и безучастному небу.

Как видите, он был философ, но, боже мой, какой невыносимый философ! В его длиннейших речах вам никогда бы не удалось подметить малейшей пытливости мысли: начиная от тона его, всегда самодовольно-важного и не допускающего возражений, и кончая теми истинами, которые излагал он почти в виде афоризмов, — все было строго закончено, за-

гнато в известное пространство (очень тесное) и загорожено непроницаемым частоклоном. Да я и уверен, что дедушка Наум, пускаясь в свои рассуждения, вовсе не за процессом мысли гнался, а разве за процессом речи. На Руси не редки такие чудачки.

Как бы то ни было, обсуждать и рассуждать было страстью дедушки Наума, и он, подобно пауку, опутывал паутиной своих бесконечно длинных речей все, что ни попадалось ему под руку, — дрянная ли мошка, которой и цена-то грош, или великолепная зеленая муха. Ждали ли в самоскорейшем времени светопрествления, появлялись ли новые сведения насчет кисельных берегов и медовых рек, проходили ли слухи о девичьем наборе для заселения реки Амура, открывались ли в близкой перспективе крупные поборы самоновейшего изобретения, — дедушка Наум, с обычной своей деревянной невозмутимостью, неуклонно рассуждал и о светопрествлении, и о кисельных берегах, и об Амуре-реке, и насчет поборов — всему уделяя ужасное количество слов и одинаково важное внимание. С таким же беспардонным

обилием извергал он эти слова и с такой же значительностью пускался в рассуждения, когда дело шло и не о таких чрезвычайных материях, как река Амур, а просто шел толк о Панфиловой новой корове или о куриных яйцах, проданных теткой Ариной в последний базар.

Жил дедушка Наум зажиточно (недаром носил окладистую бороду). Имел он большую семью, которую держал в ежовых рукавицах. Сыны его были тихие и робкие ребята, для которых мановение серых отцовских бровей равнялось ретивой ругани такого даже важного начальства, как, например, письмоводитель станového. Невестки деда Наума так были вымуштрованы, что при свекре не смели рта разинуть. И тех и других он поколачивал. Особенно доставалось бабам. «Напрасно ты их бьешь», — как-то сказал я ему, когда он, по возвращении из дому, в длинном монологе заявил мне, что «дома у него было не все в порядке» и что баб он «маленечко потрепал». «А как же ее не бить? — глубокомысленно возразил он, поглаживая бороду и важно отставляющая ногу в громадном сапоге, — как же ее

не бить, бабу-то? Бабы нельзя не бить. Без битья, это прямо надо сказать, с ней никак невозможно. Баба — она ехидная. С ней ежели по кротости, к примеру, — она съест. А вот поучил ее малость...» — и пошел, и пошел. Впрочем, младшую свою невестку красивую, но дурковатую бабу Степаниду — он не бил и даже частенько жаловал ее то новым платком, то котами. «Степка у меня — золото!» — бывало, хвалился он, и действительно баба здорова была на работу; но зато мужу ее, вялому и длинному малому, с воспаленными глазками и светлыми волосами, сбитыми в колтун, более других братьев доставалось затрещин и встрепок.

Я редко встречал такого врага всякого рода новшеств, каким был Наум. Против железных дорог и «цыгарок», железных плужек и картузов, молотилок и «вытяжных» сапогов — он восставал с одинаковым озлоблением. В старину все, по его мнению, было лучше: табак не курили, а нюхали, если же кто и курил, то в трубке; молотить — молотили цепами, отчего и солома была лучше («едовитее») и чище вымолачивалось зерно; пахали господские

земли хотя и сохами, зато вовремя, да и пахали-то так, что теперь и плугой не вспашешь, ибо лошади мужицкие были тогда хорошие и сытые.

Я любил в разговоре с ним заводить речь о старине. «Теперь возьмем, к примеру, сапог, — бывало, толковал дед Наум, — нынешний ли сапог или старинский. Нынешний что? — подборы высокие, кожа тонкая, выглядит щеголевато, а, глядишь, через год и подметки разбились. Так, шваль-сапог! Нет, прежний, к примеру, сапог был, — это, прямо надо сказать, сапог! Кожу на него поставишь толстую, подошву подгонишь — дерево деревом... Так ему износу нету! У меня раз — что я тебе скажу — десять годов носились сапоги! Вот какие были сапоги. А ноне что — ноне, прямо надо сказать, присловье одно, что сапоги, а на самом-то деле, ежели, к примеру, разобрать хорошенько да порассудить, — они и не сапоги...»

И, подобно новым сапогам, на все новое глядел он свысока и презрительно. Если же заходила речь о такой новизне, которая уже неоспоримо была хороша, тогда Наум, не

представляя против нее никаких доводов, напирал только на то, что «в старину» и без этого жилось хорошо, а теперь, с «эстими новшествами-то бесперечь зубы на полку кладут».

Несмотря на то, что Наум никогда и ничего ни важного (по смыслу), ни особенно умного не говаривал, он все-таки пользовался авторитетом на сельских сходках. Бывало, галдит-галдит эта сходка, ругается-ругается охрипшими голосами, но стоило только подойти деду Науму и заговорить — все тотчас же смолкало, и он беспрепятственно изрекал свое длинное слово, по обыкновению, несмотря на всю свою многозначительную отрывочность, не имевшее никакого практического значения. Но сходка внимательно и серьезно выслушивала это бестолковое слово и, уже выслушав, снова принималась за свое галденье, из которого в конце концов и вылупливалось — ими же весть какими путями — изумительно ясное и простое решение, разумеется ничего общего с словами дедушки Наума не имеющее.

Надо сказать, что славу деревенского мудреца и возможность беспрепятственно изре-

кать свои рассуждения даже на сходке дедушка Наум приобрел, в некотором смысле, кровью.

Дело было в шестьдесят первом году. Получился манифест, прочитался, более или менее бестолково, полуграмотными сельскими попами с высоты амвона — и, разумеется, либо окончательно не уразумелся, или понялся в так называемом «превратном смысле». Обитатели деревни Волохиной (однодеревенцы дедушки Наума) манифест совсем не поняли и в простоте душевной даже рукой махнули, решив: «Что-де прикажут, то и будем делать», — народ был забитый. Но тут-то и стяжал лавры мудреца дед Наум. По его почину мужики раздобылись где-то манифестом, собрались вечерком в Наумовой избе и заставили читать манифест отставного солдатика Карягу, имевшего претензию на знание азбуки вплоть до складов. Каряга читал, не обращая ни малейшего внимания на точки, запятые и тому подобную мелочь; ночник трещал, разливая мигающий, дымно-багровый свет; громадная толпа, до невозможности загроздившая избу, с страстным напряжением слу-



шала «волю». Царило глубокое молчание, изредка прерываемое вздохами и осторожным покашливанием в руку. На печи слабо всхлипывала, вся преображенная радостью, столетняя старуха, мать Наума, тщетно унимаемая внучатами. У стола сидели старики, с важной и сановитой серьезностью внимая Каряге. Все были мокры от пота, красны от духоты и от мучительных усилий уразуметь волю.

И, вероятно, прочел бы Каряга манифест, никто бы по-прежнему его не понял, и решение волохинцев отдаться на благорасположение начальства осталось бы в силе. Но тут-то дед Наум и стяжал славу мудреца.

— Стой, Каряга, стой! — закричал он Каряге.

Все вздохнули и притаили дыхание. Каряга остановился.

— Читай, к примеру, сызнова.

Каряга высморкался и начал:

— «Полагаемся и на здравый смысл...»

— Нет, не это место ты читаешь, — опять остановил Карягу дед Наум.

Каряга обиделся.

— Какое ж, по-твоему, — ты говори толком,

а то я возьму да и наплюю, возразил он.

Взволнованная толпа напала на Карягу. Он смирился и уже с покорностью обратился к Науму:

— Кое же место читать? «Полагаемся и на здравый смысл...»

— Стой, обожди малость, Каряга, — сказал Наум и, помусолив указательный палец руки своей, ткнул в бумагу: — Попытай отселе, к примеру.

Внимание толпы напряглось до степени невозможного. Народ, по неподвижности своей, казался иссеченным из камня. Даже обезумевшую от радости старуху, и ту уняли. Все замерло в какой-то истоме, и только треск ночника да сверчок где-то за печкою тревожили тишину.

— «...Что законно приобретенные помещиками права...», — на каждом слове спотыкаюсь и останавливаясь, тянул Каряга.

— Вот-вот! — встрепенулся дед Наум и даже приподнялся с лавки. Лицо его осветилось торжеством. — Читай это место, Каряга...

— «...Пользоваться от помещиков землею и не нести за сие соответственной повинно-

сти», — прочитал Каряга.

— Слышите, старики? Пользоваться, к примеру, а повинностей, чтобы никаких... Это надо прямо сказать.

Изба дрогнула от радостного гула.

— Ну-ка, промахни еще, к примеру.

— «Пользоваться от помещиков зем-  
лею...» — промахнул Каряга.

По избе пронесся трепет.

Решили прочесть еще раз весь манифест. Каряга было заупрямился, но ему, во-первых, прибавили полштофа к договоренной цене, а во-вторых, посулили разные неприятности, и дело уладилось. Начал он опять читать, а мир — упорно вникать в суть читаемого; дошли и до знаменитого «места»... Вышло одно и то же, кроме того, что Каряга еще яснее и вразумительней провозвестил: землей от помещиков пользоваться, а повинностей за землю не нести. Торжествующая толпа радостно загудела и уж почти не дослушала конца манифеста. Дедушка Наум сразу вознесся выше лесу стоячего.

Следствием всего этого в Волохиной если и не вспыхнул бунт, то воцарилось недоразуме-

ние. Мужики на барщину ходить перестали, об уставной грамоте<sup>(4)</sup> забыли и думать, а беспорядочно слонялись по улицам и ждали: «енарала».

Но генерала они не дождались, а прикатил к ним исправник Горбылев, который, по своему обыкновению, еще далеко до деревни возопил нелепым по своей пронзительности голосом и вопил до самой станичной[1], а у станичной произнес речь с подобающим облием непечатных выражений и сильных слов. Речь мужики выслушали, как оно и следовало, в почтительном молчании, но на требование исправника выдать чтеца отвечали отказом. На их счастье, Каряга струсил и по своей собственной воле предстал перед ясными горбылевскими очами.

— Ты чтец?

— Точно так, ваш-скаародие.

Бац, бац.

— Один читал?

— Точно так, ваш-скавродие! — пролепетал бедный Каряга, стараясь сохранить равновесие и по-прежнему держа руки по швам.

Бац, бац.

С лица Каряги текла кровь, и глаза его глядели тоскливо, но он все держал руки по швам и сохранял равновесие.

— Толковал кто?

— Наум, ваш-скавродие! — отвечал окончательно испуганный солдатик.

— Подать сюда Наума!

Подали Наума. Он попытался было, яко змий, уловить пылкого администратора мудростью и длиннотою своих рассуждений; но, увы, на его несчастье, администратор ненавидел только две вещи: объяснения, которые он называл грубостью, и возражения, почитаемые им дерзостью. Не успел дед Наум произнести и слова, как на его голову вылился сокрушительный поток различных более или менее некрасивых изречений. Поток этот заключился каким-то совершенно нечеловеческим рыканием, подобным рыканию ретивой собаки, когда она, бешено громыхая тяжелой цепью и кровожадно оскалив зубы свои, мечется и рвется и лает до хрипоты в горле, отстаивая интересы своего хозяина. После рыкания последовало краткое и как бы изнеможенное междометие, а за междометием про-

изошло то обстоятельство, которое и дало мне повод сказать, что дед Наум славу деревенского мудреца и возможность беспрепятственно тянуть канитель даже на сходке приобрел, в некотором роде, кровью.

Недоразумение, разумеется, тогда же испарилось: мужики на барщину пошли и вообще оказали послушание «мирным увещаниям» исправника Горбылева (так значилось в его донесении губернатору), но и до сих пор, в глубине своей мужицкой души, они уверены, что дед Наум пострадал невинно и манифест именно им, мужикам, отдавал всю помещичью землю без всякой с их стороны повинности.

С этих-то пор во всех тех случаях, где требовался так называемый «говорок» — в качестве ли поверенного от мира в судебных делах или в объяснениях с барином и начальством по какому-либо мирскому делу, — всегда избирался Наум. К нему же прибегали односельцы за всевозможными советами, а когда случалось у кого горе, то, хотя и не требовалось горемыке совета, он все-таки шел к деду Науму и рассказывал ему про свое горе. И

дед принимал важную осанку, степенно разглаживал свою бороду и битые часы толковал на ту тему, что лошадь-де, как ты ее ни поворачивай, все будет лошадь, а корова, опять-таки как ты ее ни верти, все же останется коровою.

Кроме таких вопиющих истин, прибегающие к Науму ничего не получали, но уходили от него обыкновенно довольные. Я думаю, не так дедовы слова действовали на них, как его осанка, важная и внушительная, его многозначительный и невозмутимо-ровный тон. Впрочем, может быть, действовали и слова, но не в силу вложенного в них смысла, а благодаря бесконечному обилию этих слов, — обилию, действительно усыпляющему нервы.

Однако некоторые одноподобные, больше из молодых и, по крестьянскому понятию, легкомысленных, дерзали называть иногда дедушку Наума «пустоболтом» и «дуботолком», а когда он изрекал свои глубокомысленные реплики, то смеялись втихомолку. Но, во-первых, этих дерзких было немного, а во-вторых, и они восставали против ораторского значения дедушки Наума робко и неуверенно.

но, ибо любит русский человек процесс речи и, невольно даже, почитает людей, обладающих даром хотя бы и не умного, но важного и обильного словоизвержения.

Как бы то ни было, но если бы вы приехали в деревню Волохину и спросили бы первого встречного: «Нет ли, мол, у вас человечка присмотреть за порядком на хуторе?» — вам сейчас бы ответили, был ли тот встречный взрослый мужик или баба, подросток или старик: «А это уж ты ступай к деду Науму, — кроме Наума у нас нету таких людей», и вы ехали к Науму и действительно убеждались, что за порядком у вас на хуторе смотреть он может, ибо собственное его хозяйство было в отличнейшем порядке.

Если Семен относился к природе с каким-то теплым чувством, похожим даже на некоторое благоговение, то дедушка Наум относился к ней уж прямо бесхитростно. Он не остановился бы с невольным восхищением перед багряным морем заката, не стал бы умиленно глядеть на звездное небо. Все это интересовало его иногда, но настолько, насколько обещало или могло обещать прямой,



непосредственной пользы. По его мнению, и закат и восход солнца были устроены господом богом лишь для того, чтобы замечать по ним, вёдро ли, дождь ли будет на следующий день. Для того же то ровным, то мигающим светом светили звезды. Иного значения природа не имела для дедушки Наума. Сад был ему дорог лишь плодами. Степь — своим богатым девственным черноземом. Лес — годностью на ту или другую хозяйственную поделку.

Эта черствая черта (если она черствая) особенно выдавалась в нем, когда ему приходилось быть вместе с Семеном. «Эка зорька-то благодатная!» умиленно скажет тот. «Это что толковать, — подхватит дед Наум, — заря ничего: теплая, в одной рубаше, к примеру, и то хоть куда, и для яровых ежели, то хорошо». — «Гляди звездочки-то, звездочки-то перекатываются, ровно молонья... Эка мудрость-то, господи батюшка, подумаешь!» — с благоговением произнесет Семен. «Перекатываются-то они перекатываются, это точно, — подтвердит дед Наум, равнодушно взглядывая на сверкающее небо, — а вот дождичку бы на-

доть: по звездам-то, гляди, засухе быть...» И всегда так.

Впрочем, несмотря на такую разницу во взглядах, Наум уважал Семена и признавал его за особо одаренного от господ человека. «Ему дано, говаривал он, — он и хромоту в лошади может вылечить и червей заговорить. А за то дано — человек он правильный и совесть в ем есть. Это прямо надо сказать».

Если Семен кротостью и смирением напоминал робкого голубя, а дедушка Наум походил на резонера фонвизинских комедий, то Михайло (несколько уже известный читателю) имел несомненное сходство с героем, сказок русских Бовою. Подобно этому богатырю, был он и могуч, и румян, и если королевич Бова любил потеху — «возьметса ли за руку — рука прочь, ухватит ли за ногу — нога прочь», то и Михайло не пропускал ни единого живого существа без того, чтобы не сотворить этому существу звонкого подзатыльника или оглушающей затрещины. Для чего это выделялось, он и сам не мог объяснить, — так, уж характер такой был у человека.

Дед Наум поклонялся брюху и на весь мир

божий смотрел с точки пригодности этого мира для насыщения телесных вожделений и уплаты оброка; Михайло же боготворил кулак, а мир почитал ареною для кулачного боя, в котором тот и умен, тот и достоин уважения, кто раскровянил более физиономий и своротил на сторону скул. Человек, не обладающий кулаком, подобным молоту, по мнению Михайлы стоил лишь плевка. Сочувствие его было всегда на стороне силы. Кто кого одолел, тот и прав. Впрочем, надо прибавить, что справедливость он признавал за той только силой, которая и его собственную превосходила. Разумеется, все, что я говорю о силе, относится к силе физической.

Одним словом, взгляд Михайлы на жизнь граничил с первобытностью. Это давало ему возможность никогда и ни над чем не задумываться. Что превышало его мыслительные способности, на то он без долгих томлений махал рукой. К этому относилось все то, к чему не было никакой возможности применить теорию кулака.

Как и все силачи, Михайло не имел большого ума, был страшно добродушен и терпе-

лив, но уж раз если засучал кулаки, то стремительно разрушал все препоны и останавливался лишь на той из них, в которую упирался лбом.

Работник был он великолепный и если обыкновенно ленился, когда работал один, то на виду, «на людях», ворочал так, что пыль стояла в воздухе. Его честолюбием было быть первым везде, где требовалась сила мышц. Надо было видеть, с каким, пожалуй что и величественным в своем роде, задором шел он во главе косарей и с каким могучим размахом косы валил под корень высокую рожь или густую траву.

Но зато совершенно пасовал он, когда приходилось ему выразить словом какую-либо мысль (однако не чересчур уже первобытную). Тогда он и мямлил, и переступал с ноги на ногу, и с яростью расчесывал затылок. Бестолковостью он вообще мог потягаться с дедушкой Наумом, и если тот выражал эту бестолковость многословием, то Михайло достигал того же невразумительным мычанием и ни к селу ни к городу не идущими бессвязными и запутанными речами.

Теперь позвольте, читатель, представить вам моего работника Якова.

Всего вероятнее, что и Наума и Михайлу, а пожалуй даже и Семена, случилось не раз встречать вам. Но встречали ли вы такую перелетную птицу, каков был Яков, — сомневаюсь. В том веке всевозможных пут и регуляторов, в котором имеем мы счастье обитать с вами, люди, подобные Якову, становятся чистейшим анахронизмом.

В течение каких-нибудь пяти лет нанимался он ко мне по крайней мере десять раз. Придет, проживет два-три месяца и, глядишь, является смущенный и нахмуренный.

— Что ты, Яков?

— Воля ваша, Николай Васильич, разочтите!

— Что так?

— Да уж так... Служить больше не могу. (Глаза при этом устремляются куда-нибудь на угол печки.)

— Может, обидел кто?

— Как можно, чтоб обижать! Никто не обижал.

— Что ж, разве пицца плоха?

— Нет, что ж, пища как следует — пища лучше желать нечего. (Лицо Якова делается все более и более тоскливым.)

— Ну, значит, работы много? — допытываюсь я.

Яков снисходительно усмехается.

— Помилуйте, какая работа! Аль мы не работали... Только воля ваша разочтите!

Я рассчитывал его и потом узнавал, что он отправился либо в Ростов, или куда-то на Кавказ, или на Волгу. Спустя полгода, редко год, снова являлся мой Яков на хутор и опять занимался, и опять повторялась прежняя история, с тою только разницею, что я уж без всяких расспросов отдавал ему деньги, да и он привык ко мне и уж не конфузился, а только усмехался во все лицо и предупредительно сообщал, что он теперь идет «потолкаться» на Кубань или еще куда-нибудь к черту на кулички. Бывало и так, что он круглый год проживет в нашем околотке: месяц у меня, месяц у моего соседа, потом у другого моего соседа, затем опять у меня. Казалось, бес какой-то в нем крылся и не давал ему засиживаться на месте.

Трудно сказать, что именно влекло его к странствиям. «Эх, закатился бы теперь в Астрахань!» — скажет он, бывало, и по обыкновению сплюнет сквозь зубы. «Да что ж там, в Астрахани-то?» — спросят его. «В Астрахани-то что? вызывающим тоном переспросит Яков и затем опять повторит: — Что в Астрахани-то?» — и затем уж либо крепко и скверно изругает ни в чем неповинного собеседника, либо промолчит и с шиком отплюнется.

Большую часть всегда так оповещал он о тех краях, в которых приходилось ему бывать. Впрочем, иногда это выходило у него и пространнее. Так, раз рассказал он всей компании, собравшейся в кухне, как жил он в Царицыне у купца и какая у того купца была ляда-лошадь: «Ты ее стегнешь, а она задом!» — или опять, как жил он во Владикавказе, тоже у одного купца: «Так у него куфарка была, братцы мои, — семь пудов тянула!» А на вопрос: «Вот жил ты на Кавказе, видел горы, черкесов видел, ну, каковы те горы, и что за народ черкесы?» — «А что ж, горы ничего, большие горы есть, и черкесы опять — как не быть черкесам, на то — Капказ», — ответит

Яков и тотчас же опять свернет разговор на какую-нибудь «куфарку», весившую семь пудов. Впрочем, иногда, если уж слишком расчувствуется, то покачает головой и скажет: «Эх, места есть, братцы, я вам скажу, — привольные есть места!» и замолчит в раздумье, а через час уж опять рассказывает, как он с купцами к «башкирцам» ездил, и как там одна башкирка в него врезалась, «старая-престарая, а строга».

Кстати, о женском поле. Яков питал к этому полу какое-то необъяснимое пренебрежение. По мнению дедушки Наума, битьем да строгостью из бабы все-таки можно кое-что сделать небесполезное. Яков же шел дальше — он прямо почитал ее пятым колесом в телеге. Бить ее, по его мнению, конечно, следовало, «на то она баба», но ожидать от этого битья чего-либо путного было напрасным трудом. И, как нарочно, это-то презрительное отношение и влекло к нему баб. А он если и снисходил до близких отношений с ними, то лишь очень ненадолго. И боже избави его избранницу каким-нибудь образом дать заметить эту близость посторонним, — Яков



немедленно колотил тогда неосторожную, отбирал у ней свое белье и платье, отданное для починки и мытья, и с достоинством покидал беднягу на произвол судьбы.

Одною из жертв его жестокости была кухарка Анна. Это была солдатка чумазое, забитое существо, в вечном безмолвии, прерываемом одними вздохами, возившаяся с утра до ночи около печки. Она питала к Якову нечто вроде любви. По крайней мере в его присутствии она разглаживала вечные свои морщины, меньше охала и вздыхала и даже иногда улыбалась. Конечно, он третировал ее как нельзя хуже, но, кажется, в конце концов стал поддаваться ее упорному и немому обожанию.

Несчастный случай все испортил. Вздумалось как-то Анне приготовить своему возлюбленному сковородку грибков, конечно секретно от других обитателей хутора. Задумано — сделано. В одно воскресенье, не успели еще обедавшие в кухне разойтись из нее, Анна и преподнесла Якову в виде десерта смачно шипящую сковородку. Все, разумеется, успели заметить это и намотать себе на ус. Надо бы-

ло видеть гнев Якова. Скворода с грибами стремительно полетела в радостно улыбающуюся физиономию несчастной Анны, а через четверть часа Яков стоял уже около приоткрытой двери в моей комнате и обычным своим тоном произносил:

— Воля ваша, Николай Васильич, — пожалуйста мне расчет.

Однажды все мои домочадцы собрались на канавке за хутором. Тут же, около них, помещался березовский мужичок Аким, который хотя и пришел за спешным делом (занять печеного хлеба на ужин), но тем не менее посиживал себе на канавке. Дело было летом. Знойный день угасал. Еще не остывший воздух, пропитанный запахом сжатой ржи, был сух и неподвижен. Алая заря тихо мерцала на краю неба. В голубой высоте с радостным трепетом вспыхивали звезды. Был праздник. В полях стояла тишина.

— А у нас позавчѐра странник проходил, — произнес Аким.

Все молчали.

— Говорит: трясение скоро будет, — добавил Аким.

— Как — трясение?

— А так, значит... Земля затрясется.

Молчание. Одна Анна тяжело вздохнула.

— И еще, говорит, голод. Ужасенный голод, говорит, будет в ваших местах.

— Это когда же?

— А уж там понимай когда... Ему что! Он сказал... а уж ты понимай.

Опять замолчали.

— И глад, говорит, и трус, и мраз.

— Это что же означает?

— А то и означает, что... — рассказчик запнулся. — Ну, прощайте, произнес он, торопливо поднимаясь, — мне уж ко двору пора, небось ждут... и, отойдя шагов на пять, добавил: — И земля, говорит, будет у вас совсем неродимая, вроде как солонцы теперь...

По уходе Акима с добрых четверть часа все молчали в какой-то задумчивости, и только одна Анна простонала раза два: «О-ох, грехи наши тяжкие!» Было тепло и тихо. Тени все гуще и гуще опускались на землю, но не приносили с собой ни сырости, ни прохлады. Небо на западе алело, зеленело, синело и все как бы уходило дальше и дальше от земли.

— Нет, я чтобы теперь, — внезапно рассердился Михайло, — взял бы я теперь этого странника самого, да по шее бы, по шее...

— Ну, не говори, — задумчиво возразил Семен, — странник тут ни при чем. Тут господь насылает... Тут одно — терпи. Вот что, друг ты мой. А странник что... Он в стороне... Тут господь, стало быть, прогневался...

— Это за что же? — любопытствовал Михайло.

— А он уж там знает, батюшка, за что. Твое дело — терпеть. Голод ли там, аль опять трясение какое, ты все должен претерпеть.

— Эта пач-чиму же? — не унимался Михайло.

— Потому. Зря тебя не тронут, а ежели есть такое попущение — значит, за дело, за грехи. Вот почему.

— Терпеть, — скептически произнес Михайло, — за грехи?.. Не-э-эт... Он еще что-то хотел добавить, но сжал кулак, сердито потряс им по воздуху и ничего не добавил.

— Вестимо — грехи, — важно вымолвил Наум, поглаживая бороду, — без греха нельзя. На то и человек, чтобы грешить. Ну, и гос-

подь... господь знает, за что наказать, за что помиловать. Теперь, странник говорит: «Земля неродимая». Это опять, я тебе скажу, от господа. Всяко бывает. В Матренском клину, я еще помню, чернозем был. Теперь — солонцы. Все от бога. А что насчет грехов, к примеру, это опять верно: как не быть грехам. — Наум глубокомысленна помолчал. — Или опять — «мраз». Это, так надо полагать, мороз. Не иначе как мороз. Что ж, морозы бывают. Это он опять правильно: как не бывать морозам.

Наума все выслушали внимательно, но ответить ему — ничего не ответили.

Помолчали. Заговорил Яков:

— Да уж оно и видно — к тому идет!.. Год от году. Я, как в позапрошлом году в Царицыне был, так там тоже странничек один... Или опять в Астрахани раз... Все, говорит, тлен! А то в Тифлисе я жил у армянина — тоже кобель был ужастенный... — Яков не договорил и молодецевато сплюнул.

— А по-моему одно — по шее ихнего брата! — мрачно произнес Михайло, намять ему бока ежели хорошенько да всыпать чтоб, —

он и знай!.. А то мраз-аз («мраз» он протянул чрезвычайно пренебрежительно). Их много таких, шляющихся-то... Нет, кабы ежели отодрать его, паскуду... Разложить бы, да горррячих чтоб... Небось бы!.. Я раз тоже в Улитиных двориках ночевал... Но пристали ко мне мужики и ну... и ну... Особливо один... Кэ-эк я его полысну! Он — с ног... Другой!.. Кэ-эк я его садану — морда во!

— Вспухла? — сочувственно воскликнул Яков.

— А ты думал как? Дай-ка я тебе засвечу, небось вспухнет! — в скобках ответил Михайло и потом обычным тоном продолжал: — Ну, третий... Так я их тут, братцы мои, перешил... А наутро выезжаю — хозяин за поводья. «Тебе чего?» — «За ночевку деньги». — «Деньги?» Кэ-эк я его... А то терпеть! Михайло самодовольно поглядел на свой здоровенный кулачище и, вероятно вспомнив подробности побоища, весело засмеялся.

Опять никто ничего не ответил. Помолчали. Яков опять заговорил:

— А я так полагаю — на новые места!.. Удалиться на эти самые новые места, и шабаш!..

Теперь ежели на Белые-Воды аль к Капказу... У, хороши есть места!.. Аль опять на Дону... Я как в Ростове был, тоже проходил по местам-то, вот места!.. Аль Кубань ежели взять... Эх, закачусь по весне на Кубань! (Он вздохнул и сплюнул.) А ежели не в Кубань, так к башкирцам ударюсь, с купцами... Вот опять места!

— Места, что говорить, места есть, — внушительно заговорил Наум. Только захотеть — места найдутся. Как не быть местам... (Он немного помолчал.) — Теперь, ежели захотел ты, к примеру, сейчас тебе пашпорт и — с господом. И какой пашпорт опять: на три ли там месяца, аль полугодовой. А то есть и такие, что на год. Всякие есть. Теперь взял ты, к примеру, пашпорт и с богом... Как не быть местам!.. Местов много.

— Тоже вот в остроге ежели насчет местов... — хотел было сострить Михайло, но не договорил и фыркнул. И, вероятно, смех этот почли легкомысленным, ибо опять никто ничего не сказал.

Помолчали.

— Пытались на эфти на новые ме-

ста-то... — робко и неуверенно произнес Семен.

— А то нешто не пытались-то... — подхватил Наум, — вестимо, пытались. Тоже, пытались так-то, да и назад. Это что говорить. Это точно, что пытались. Снарядятся, к примеру, поедут, да и назад. Да. А то как, гляди, не быть местам!.. Места есть.

— А на мой згад, живется тебе ежели, ну и живи, — возразил Семен. Господь с ими, с местами-то!.. Пущай их... А ты, ежели накажет тебя господь, — терпи... вот! Живем, покуда бог грехам терпит! И помрем... И здесь помрем, и на Кубани ежели, — все помрем! Конец один.

И все дружно поднялись, чтоб ийти ужинать. Только Михайло встал медлительно и, вставая, сердито бормотал: «Больше ничего, как по морде... Взять бы да хорошенько!.. Небось бы... А то этак-то, пожалуй, всякий...»



# Примечания

Станичная — изба, у которой собираются сельские сходы и где сосредоточивается сельская администрация. *(Прим. автора.)*

[^^^]

# Комментарии

# 1

«...дивно терпеливый Иов...» — мифический праведник Иов, терпеливо перенесший все ниспосланные ему испытания. Его именем названа одна из книг библии; основная ее идея — необходимость покоряться судьбе, ниспосылаемой богом человеку.

[^^^]

«...бог этот походил на того скорбного бога, который «под ношей крестной исходил, благословляя, край, долготерпения». — Неточная цитата из третьей строфы стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья» (напечатано в 1857 году):

*Удрученный ношей крестной,  
Всю тебя, земля родная,  
В рабском виде царь небесный  
Исходил, благословляя.*

[^^^]

### 3

*Фемид* — в древнегреческой мифологии богиня правосудия. Изображалась с весами в руках — символом справедливости; глаза ее были закрыты в знак беспристрастия.

[^^^]

## 4

*Уставная грамота* — документ, в котором после отмены крепостного права определялись новые отношения помещиков и крестьян.

[^^^]